

*Посвящается Джереми Тейлору  
и троим нашим детям, Сефе, Джорджи и Заку,  
а также всем погибшим и пропавшим без вести  
во время двух мировых войн*

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Пролог. Детство с Куртом</i> .....	9
---------------------------------------	---

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. София и Самуил .....	29
2. Соленья для императора .....	48
3. Компот .....	63

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

4. Ром на Восточном фронте .....	91
5. Шнапс на Южном фронте .....	110
6. Голодные бунты .....	130

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

7. Яблочный штрудель .....	149
8. Дочь спичечного короля .....	163
9. Убийство в горах .....	177
10. Аншлюс .....	194

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

11. Открытки .....	211
12. Две кофейные чашки .....	232
13. Еврей-нацист .....	252
14. Санки .....	260

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

15. Пляж в Брайтоне .....	281
16. Письма из Вены .....	295
17. Печенье с сухофруктами .....	314
18. Заливные угри .....	329
19. Возвращено отправителю .....	343
20. Гость гауляйтера .....	358

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

21. Наклейки старые, напитки новые .....	375
22. Гауляйтерские равиоли .....	391
23. Das Schindler .....	406

<i>Эпилог. Память и памятники .....</i>	<i>417</i>
<i>Благодарности .....</i>	<i>426</i>
<i>Рецепты .....</i>	<i>432</i>
<i>Примечания .....</i>	<i>437</i>
<i>Библиография .....</i>	<i>441</i>
<i>Фотоматериалы .....</i>	<i>446</i>

# Пролог

## ДЕТСТВО С КУРТОМ

Хэмпшир, Англия, Рождество 2016 года

Я подъезжаю к маленькому, выдавшему виды коттеджу, где живет мой отец. Крохотный сад совсем растворился в сумерках, но даже хорошо, что я ничего не могу как следует разглядеть. Сад был любимым детищем моей матери, Мэри, ее не стало около года назад, и сад успел основательно за-расти.

Мой отец, Курт Шиндлер, сидит чуть ли не в потемках и перебирает разложенные на коленях листы бумаги. Он пишет то на одном, то на другом, и разобрать его каракули совершенно невозможно. Я включаю свет, но он ему не очень-то и нужен. Одержимость в натуре отца; эта сцена — лишь слабое подобие тех, которые разыгрывались много лет подряд, когда, еще не совсем выжив из ума, он показывал мне документы, добиваясь моего одобрения то по одному, то по другому вопросу. Ему хотелось согласия, а не разногласия.

Я сижу у него чуть больше часа. Хочется поскорее уйти, оставаться дольше нет сил, слишком уж мне больно. Это наша последняя встреча.

На моей памяти Курт лишь раз, в самом начале 1970-х годов, оказался на должности подчиненного, но продержался на ней совсем недолго. Он совершенно не переносил указаний, что и как делать, и предпочитал работать не на кого-то, а на самого себя. Всю жизнь он учреждал и возглавлял самые разные торговые компании, ввозил из-за рубежа орехи, приправы, витаминные добавки, джем, алкоголь и перепродавал их, часто в убыток себе же. О том, чтобы правильно поставить свое дело и вести бухгалтерию как следует, он даже не помышлял. А часто и вовсе не рассчитывался с поставщиками, предпочитая обращать доходы от своей нехитрой коммерции в судебные издержки на дела против тех, кто, по его мнению, причинил ему ущерб.

Стоило очередной компании Курта потерпеть крушение под бременем долгов и судов, он обращался к юристам, а то и к психиатрам, чтобы те помогли ему выпутаться из очередной финансово-юридической неразберихи. Подобно человеку с болезненной склонностью к азартным играм, он давал самые горячие клятвы больше никогда и ничего не продавать и не покупать, но тут же нарушал их, оправдываясь тем, что другого выхода у него не было.

Как-то, в минуту откровенности, он признался, что ему была по душе такая «жизнь на краю». То, что так же приходилось жить его жене и детям, было для него не более чем просто фактом. Курт-отец был не в состоянии поддерживать маломальскую стабильность, и нашу семью бросало из крайности в крайность. То мы жили в дорогих домах, разъезжали в BMW, учились в лучших частных школах и отдыхали в шикарных отелях; а то мы еле сводили концы с концами, скрывались от тех, кому задолжали, не понаслышке знакомились с выселением и даже спешно выезжали за границу. Часто все это происходило одновременно. В детстве это и пугало, и приводило в полнейший восторг.

В начале 1970-х годов мы с младшей сестрой Софией, бывало, по целым дням сидели совсем одни в нашем небольшом

доме в Кенсингтоне, пока родители колесили от одного лондонского юриста к другому. Судебных приставов мы боялись как огня. Прекрасно помню — мне было лет десять, — как один из них барабанил в нашу входную дверь. Нам было строго-настрого приказано никому не открывать, если дома не было родителей, и мы с Софи бросились ничком на деревянный пол второго этажа и затихли, как две мышки.

Я подползла чуть-чуть вперед, к самому краю винтовой лестницы, и свесила голову с первой ступеньки, так, что в пролет дверь была хорошо видна. Металлический язычок почтового ящика, казалось, вот-вот оторвется. Я еле дышала. И вдруг, в совсем уж отчаянный момент, мои глаза встретились с глазами человека за дверью. Он присел на корточки. Похоже, увидеть лицо девочки, уставившейся на него с верхней площадки лестницы, для него было так же неожиданно, как для меня встретиться с его взглядом, и он поспешно ретировался. Так бедолаге и не удалось вручить отцу судебные документы. Пристав продул Шиндлерам с позорным счетом 0:1. Получилось еще раз оттянуть нескончаемое дело, сути которого я так до конца и не поняла.

Но все же фортуне надоело нянчиться с отцом. Это произошло утром 28 февраля 1973 года, когда он высаживал нас из машины перед входом в Кенсингтонскую начальную школу. Помню, два полицейских офицера в гражданском подошли к машине и попросили Курта пройти с ними. Нас с Софией быстро завели в школу, а его увезли под арест.

Моя крестная дала деньги под залог освобождения, и вскоре Курта отпустили на свободу. С тех пор жизнь нас всех стала зависеть от его строгого режима. Раз, когда полицейские явились к нам, я лежала в постели с простудой. Они требовали, чтобы я приподняла свое одеяло, крытое темно-красным атласом: подозревали, что под ним отец мог спрятать какие-нибудь бумаги. Ему же это даже в голову не пришло: в такого рода планах он был не силен. В полном смятении я раздавила

зубами градусник, который держала во рту, и зачарованно следила, как серебристые шарики ртути катились друг за другом по стежке одеяла.

В школе я была тихой, послушной, правда любила иной раз всплакнуть. Учительница французского языка однажды озабоченно спросила, все ли в порядке у меня дома. Я ответила, что все в порядке, и с тех пор очень следила за тем, чтобы не пустить слезу в школе. Мне было бы неудобно откровенничать с ней. Я никому не доверяла.

В бумагах Курта мне попало обвинительное заключение 1975 года, из которого стало ясно, как именно он вел дела своих многочисленных торговых компаний. Обвинитель подметил: какую бы цену ни назначил поставщик, Курту она не казалась высокой, но товар он всегда приобретал только в кредит. Ход мысли обвинителя был совершенно понятен: Курт *и не собирался* платить своим поставщикам. Однако я думаю иначе. Грядущий очередной кризис, и вся выручка от продаж ушла на погашение самого срочного долга. Это была не хорошо обдуманная хитрость, а побочный продукт хаоса, царившего в его голове да и, пожалуй, во всей его жизни.

Когда полицейские спрашивали отцовских кредиторов, как можно было отпускать такие большие партии товара в кредит, те отвечали: он внушал полное доверие и самым размером заказа, и исключительным знанием международного рынка. Очень даже может быть. Я прекрасно помню, как он буквально часами уговаривал их, сидя с телефоном на двуспальной родительской кровати.

В обвинении указывалось, что многие свои дела Курт вел по телексу. И действительно, я хорошо помню телексный аппарат. Еще совсем маленькой я любила сидеть в темно-сером металлическом коробе, на котором он стоял, и фантазировать, что это вход в волшебный мир, где можно гулять сколько хочешь и вовсе не думать о том, какая непростая жизнь у нас дома. Я слушала, как из аппарата вылезали длинные бумажные ленты,

испещренные буквами. У меня даже была обязанность — уничтожать их, разрывая на мелкие-мелкие кусочки, и делала я это очень тщательно. Курт всегда очень заботился о сохранении конфиденциальности. Он свято верил, что экономическая полиция прослушивает наш дом, и драматическим шепотом прерывал все наши расспросы о том, что происходит.

После ареста Курт целых два года то предоставлял всяческие медицинские справки, то стремительно менял юристов. Это была образцово-показательная тянучка. Трудно поверить, но тогда, прямо под носом у полиции, он снова занялся торговлей и, как всегда, влез в огромные долги, ввезя 10 800 галлонов французского и испанского вина и, разумеется, не заплатив поставщику.

Но всему когда-нибудь приходит конец. В июле 1976 года, самом жарком в Лондоне за 350 лет, Курт предстал-таки перед судом в Олд-Бейли и получил пять лет за мошенничество на общую сумму 370 000 фунтов стерлингов. Обвинитель заявил суду, что с тех времен, когда Курт подростком прибыл в Англию, он не платил ни налогов, ни страховых взносов. Судья пришел в ужас и спросил: «Так что же он здесь делает??? Ни полиса, ни пенни в налоговую!»

Одна из газет совсем уж извратила факты: будто бы Курт и приехал-то в Лондон специально, чтобы заниматься всякими темными делишками, — и довольно коряво срифмовала «Шиндлера» с «шулером». Судья вынес Курту приговор за преднамеренное банкротство и на пять лет лишил его права занимать директорские должности.

Для моего отца, на пятьдесят первом году жизни угодившего на скамью подсудимых в Олд-Бейли, мир перестал быть прежним. Нас, его семью, выселили из жилья в Кенсингтоне, и несколько месяцев мы провели в заброшенном доме в районе Илинг, воспользовавшись любезностью моей старшей сестры Каролины. Помню, как бурели на солнце парки и от нагретого асфальта несло жаром, когда мы загрузили вещи во взятый



напрокат грузовичок и двинулись в небольшой таунхаус, самовольно занятый Каролиной и ее друзьями.

Это была вполне благопристойная коммуна свободных художников. Никого вообще не волновало, что в комнате наверху появилась одинокая мать с двумя детьми и мебелью. Они обращались с нами очень тепло и подкармливали, когда мы остались совсем без денег. Я тогда как раз пошла в новую школу, Годольфин и Летимер, но мой необычный адрес оставался для одноклассников строжайшей тайной. Моя мать очень радовалась, что тогда эта школа была бесплатной, но, когда я закончила два класса, ее сделали частной.

Через несколько месяцев мы вернулись-таки в Кенсингтон, но только в маленькую квартиру муниципального дома. Мне она казалась красивой и просторной. Располагалась она необычно, выходила окнами на висячие сады, устроенные над гаражом и помещениями местного совета. Больше всего мне запомнилось ощущение стабильности оттого, что у нас наконец появился свой дом, из которого нас ни за что не выставят.

Моя мать, Мэри, была женщиной находчивой и сумела устроиться секретарем в упаковочной компании. Владельца-американца она совершенно покорила безупречными манерами и эталонным английским произношением, когда отвечала по телефону. Ей пришлось выполнять родительские обязанности за двоих, и она отлично сумела поставить на ноги двух дочерей. Нас спасали ее здоровое чувство юмора и беззаветная любовь, но все равно Курта ей сильно не хватало. Пока он не вышел на свободу, ее жизнь как бы стояла на паузе. Каждые две недели мы навещали отца в тюрьме. Иногда с нами ходила и мать Курта, Эдит. Она жила в доме престарелых района Харроу-он-Хилл. Она говорила с сильным немецким акцентом, а сын был центром ее мироздания. Эдит было трудно и больно видеть Курта в заточении. Наши тюремные свидания всегда проходили очень скованно. Другие семьи оживленно болтали и пересмеивались; возникал даже некий флер сексуальности,

когда охранники снисходительно делали вид, что не замечают, как девушки присаживаются на колени к своим осужденным парням. У Курта же всегда был четкий план и длинный список поручений для моей матери. Он писал его шариковой ручкой на руке.

Мы слушали его рассказы о тюремной жизни. В обязанности Курта входило шитье тряпичных кукол серии Cabbage Patch Kids и раскрашивание садовых гномов; эти занятия его просто бесили, потому что ни к тому ни к другому он был категорически не приспособлен. Он рассказывал нам, что, повздорив с каким-то своим сокамерником, выкрасил линзы его очков в черный цвет. За свои труды он ежедневно получал небольшую плату, которую мог тратить на телефонные разговоры, письма и шоколад. Иногда он даже баловал нас с сестрой шоколадками Kit Kat, но это бывало редко.

Но заключение — а Курт отбывал свой срок в Брикстоне, Уондсворте, Мейдстоуне и, наконец, в Форд-Оупен — так ничему его и не научило. Я не могу припомнить ни единого момента раскаяния. Напротив, в нем развилась нетерпимость. Удивительно, но из Форда он вынес лютую ненависть к радио BBC 4; в шесть утра оно своими позывными будило всю камеру. Об аристократически чопорных сидельцах Форда, с которыми Курт играл в скрабл и шахматы, он рассказывал много смешного, но в самого себя он никогда не вглядывался. Моя мать — добрая, преисполненная любви и оптимизма — твердо верила, что, выйдя на свободу, Курт сможет обеспечить семье стабильность, хотя все не то что говорило, а кричало об обратном.

Когда срок Курта подошел к концу, мне исполнилось четырнадцать лет. Он невзлюбил наш муниципальный дом и свысока посматривал на соседей-пролетариев. Видимо, стремясь доказать, какой он особенный и насколько лучше своего окружения, он без конца плел небылицы, с какими знаменитостями мы состоим в родстве. Он твердил, что все они очень

богаты, известны и удачливы. Его провалы как человека, отца и бизнесмена были не так заметны под сенью успеха и благополучия других.

Когда же проблемы припирали его к стенке, он начинал говорить, что ни в чем не виноват; его детство пришлось на военные годы и поэтому-то все в его жизни пошло наперекосяк. Он глухо намекал, что его «преследуют» кредиторы. Все попытки помочь неизменно встречались в штыки. Освободившись, Курт вынудил Мэри уйти с работы, и мы стали жить на социальные пособия. Отец без устали и без конца спорил с матерью. Он не выносил нашего муниципального дома. В нем он чувствовал себя точно в клетке, и это выводило его из себя — как будто та Англия, которая не приняла его и посадила в тюрьму, хотела унижить его еще больше. Даже если он и хотел найти работу, сделать это мужчине на шестом десятке, с тюремным сроком за плечами, было очень и очень нелегко.

По ночам, лежа на втором ярусе кровати в нашей общей с Софией спальне, я закрывала уши подушкой, лишь бы не слышать родительского ора. Жить становилось все тяжелее. Врач прописал Курту антидепрессанты, но от них становилось только хуже. Пошли эпизоды психозов; бывало, он поднимал руку на мать. А то вдруг воображал себя собакой и принимался лаять прямо на лестнице.

Проведя несколько тягостных месяцев в Лондоне, отец перебрался в Австрию, где родился и провел первые годы жизни. Курт ехал не на пустое место: в глухой тирольской деревне Тринс, близ австрийско-итальянской границы, его ждал недостроенный дом. Они с Мэри начали его строить, когда я была совсем маленькой; тогда еще не родилась София, и жизнь в Австрии стала для них своего рода экспериментом.

И вот, оставив нас с мамой в Лондоне, Курт двинулся туда и нанял строителей из местных, чтобы сделать дом пригодным для жизни. На каникулах я гостила у него, а ближе к осени возвращалась в Лондон, в свою реальную жизнь. Летом 1979 года,



*1. Я трехлетняя иду к дому в Тринсе*

когда я в очередной раз приехала в Тринс, Курт торжественно объявил: «Я нашел для тебя лучшую школу Инсбрука. Занятия начинаются в сентябре. А София пока будет учиться здесь».

Курт развивал грандиозные планы. В своем «прекрасном Тироле» он хотел начать новую жизнь, которая теперь была к нему менее сурова, чем в Англии, где его отправили за решетку. «Ты здесь научишься кататься на лыжах», — возражал он на мой горячий протест против неожиданного зигзага моей подростковой жизни.

А я была очень даже против. Я любила свою лондонскую школу; я не успела попрощаться со своими подружками. Я изобретала самые хитроумные планы побега, но отбрасывала их один за другим, прекрасно понимая, что пятнадцатилетняя девушка без всяких средств, кое-как говорящая по-немецки, далеко все равно не уйдет. Можно было бухтеть сколько угодно, но выход был лишь один: попробовать приспособиться к новой

обстановке. Теперь я вставала в половине шестого утра и, после двух часов пути, не позднее восьми входила в школу.

На автобусную остановку нужно было спуститься по еле проторенной тропинке. Иногда это было почти сказочно; однажды, темным морозным утром, при свете луны я увидела, как по свежему снегу трусят лисицы. Куда чаще было так мрачно, что по дороге домой я просыпала нужную мне остановку поезда и оказывалась на перевале Бреннер, чуть ли не в Италии. Приходилось слезно умолять пограничников разрешить дозвониться домой, чтобы мама организовала спасательную операцию.

После Лондона Инсбрук казался маленьким, провинциальным и очень белым. В новой школе я была единственной иностранкой и предметом острого интереса других девочек, ведь некоторые из них знали друг друга с самого раннего детства. Ко мне, новенькой, отношение было самое теплое и сочувственное. Только вот по-немецки я почти не говорила, и многое на уроках мне было тяжело и непонятно. На языке, который в лондонской школе был всего лишь одним из учебных предметов, теперь преподавалось все, и за пределами семьи он стал единственным средством общения. Через несколько месяцев досада и раздражение пошли на убыль, я вознамерилась как можно скорее выучить немецкий язык, и в отце вдруг обнаружили огромные запасы терпения: не жалея сил и времени, он сидел рядом со мной и скрупулезно переводил то, что написано в учебниках, чтобы я могла сделать домашнюю работу.

Мало-помалу я акклиматизировалась. Курт, казалось, стал спокойнее и даже радостнее. Иногда он стряпал кайзершмаррн (Kaiserschmarrn), австрийский десерт из нарезанных в лапшу блинов, которые потом обжаривают с сахаром на сковороде и подают на стол прямо так, горкой, посыпав сахарным песком, с яблочным или сливовым компотом. Это простая, сытная крестьянская еда, которой горцы нередко потчуют усталых

и голодных туристов и лыжников. Иногда в Тироле местным оно служит основным блюдом.

Помню, что это было единственное блюдо, которое отец умел готовить. В просторечье его еще называют «кайзеровским» или «императорским» омлетом. И не просто так он стал фирменным блюдом именно Курта. В Австрии он сумел, что называется, подняться, купил себе дорогую модель BMW, снова начались поставки, торговля, а с ними и нескончаемые судебные тяжбы. Новая жизнь окружила нас видимостью роскоши: зимой катались на лыжах, а летом ездили в Венецию, к морю.

Когда у какой-то из нас возникала хоть тень сомнения в успехе торговых начинаний Курта, он только отмахивался: «Все в порядке, все под контролем». Он был, как всегда, убедителен и обаятелен, и нам очень хотелось ему верить, но... прошло время, и нас снова стали одолевать раздраженные кредиторы, взбешенные судебные приставы, а на горизонте замаячило банкротство.

Маленькую синенькую машинку судебного пристава мы теперь знали очень хорошо. Наш дом стоял в стороне от шоссе, на самой окраине Тринса, а к нему вела простая грунтовая дорога с развилкой; перед домом текла быстрая речка. Чтобы оказаться у себя, мы поворачивали на развилке вправо и где-то метров через триста по узкому деревянному мосту переезжали через речку. Пристав был не дурак: он сворачивал не вправо, а влево: оттуда, через поле, ему как на ладони было видно, дома мы или нет. А нам столь же хорошо было видно, как он, стоя у машины и покуривая, смотрит на наш дом.

Если случалось, что в это время мы с сестрой были одни, без родителей, появление синей машинки пристава было знаком к началу операции «Тостер». Мы тогда только что обзавелись этим новомодным агрегатом, который делал вкуснейшие сырные сэндвичи. Как только вдалеке появлялся наш противник, мы кидали тостер в пластиковый пакет, вылезали через окно на задний двор, бежали в лес за домом и прятались там,

пока пристав не уезжал. Для срочной эвакуации к окну ванной комнаты всегда была приставлена лестница. Никто из взрослых не удосужился объяснить нам, что приставов тостеры ничуть не интересуют.

Если мама тоже была дома, избиралась иная тактика. Не включая света, мы перебирались в гараж, она запускала двигатель машины, по ее сигналу я настезь распахивала ворота, и она стремительно выезжала. Дальше мне нужно было закрыть ворота, запрыгнуть на пассажирское сиденье, и тогда она на большой скорости переезжала деревянный мостик, делала эффектный поворот на поляне и мчалась к развилке.

По грунтовке ехали стремительно, чтобы успеть проскочить развилку раньше пристава. Хохоча во все горло, мы всегда оказывались впереди. В ранней молодости мама участвовала в автогонках, поэтому, садясь за руль, она не оставляла бедняге-приставу ни малейшего шанса. Очередная попытка призвать к ответу оканчивалась неудачей.

Такую жизнь я вела два года, а когда мне исполнилось семнадцать лет, из деревни я уехала в большой, по сравнению с ней, город Инсбрук. Тогда я сдавала выпускные экзамены и не могла себе позволить тратить уйму времени на дорогу, но в родительский дом я больше не вернулась. Слишком уж непростая в нем была обстановка. Сестре же пришлось терпеть еще три года, но потом смогла уехать и она.

## Хэмпшир, Англия, июнь 2017 года

Мы с сестрой Софией и с мужьями сидим в отцовском доме и перебираем бумаги, решая, что сохранить, а что передать судебным приставам. Этих бумаг тут целые груды; если в их хранении и была какая-то система, она не выдержала испытания временем. Гараж на две машины — непропорционально большой для такого скромного жилища — забит, как говорится, под завязку покрытыми паутиной картонными коробками,

в которых тоже что-то лежит. Некоторые расплзлись от сырости, и их содержимое рассыпалось по цементному полу; некоторые прогрызли мыши в поисках чего-нибудь более съедобного, чем то, что в них лежало. Разбор всего этого «добра» — дело тяжелое и довольно грязное.

Сначала мы пробуем вчитываться во все подряд, но совсем скоро понимаем, что это нам не по силам, и начинаем выдерживать то, что первым попадает под руку. У Курта, похоже, не пропал ни один листок, от самого пустячного — вроде расписания прибытия наших поездов из Лондона — до действительно важного. И, обнаруживая очередное «сокровище», мы вскрикиваем то тоскливо, то изумленно, то сердито.

То, что кажется нам нужным, мы складываем в отдельную коробку, ставим в стопку тринадцать старых альбомов с фотографиями. Через два дня мы уезжаем, предоставив дом его участи. Больше мы в него не вернемся.

Прожив девяносто один год, Курт Шиндлер скончался 6 мая 2017 года. Когда умирает второй родитель, ты как будто доезжаешь до вершины эскалатора. Раз — и перед тобой больше никого нет. Со всех сторон мне выражали сочувствие; я хранила упорное молчание. И сердилась.

Мы с Софией столкнулись с практическими и юридическими тонкостями вступления в наследство. Но, взирая на кипы счетов за дом, мы ясно поняли, что делать это нет никакого смысла. Дом был оформлен на мать. Курт был банкротом, поэтому мы со спокойной душой передали дом в собственность банка. На нем висело столько обременений, что удовлетворить требования всех кредиторов не было никакой возможности.

Всю свою взрослую жизнь я держала отца на расстоянии вытянутой руки и почти ничего ему о себе не рассказывала. Я боялась, как бы он во что-нибудь не вмешался. Я научилась говорить неопределенно и обтекаемо, потому что совершенно



не могла предугадать, какой еще фортель он выкинет. Предсказать его было невозможно, и, даже когда Альцгеймер начал, как ржа, разрушать его интеллект, я не могла заставить себя бывать с ним почаще и побольше. Я ему не доверяла.

И не то чтобы он не отличался чадолюбием. В нем это чувство превращалось в жажду обладания, что явствовало из документов, обнаруженных в доме. Он нанимал частных детективов, чтобы точно знать, где мы находимся и чем заняты. Когда в восьмидесятые годы, уже студенткой, я отправилась в самостоятельную поездку по Южной Америке, он пытался выследить меня и там. В доинтернетные времена это было во все не просто, и, естественно, он потерпел фиаско. Я не оставляла следов. Путешествуя налегке, изредка отправляя родителям заказные письма, я сумела ускользнуть у детектива между пальцев.

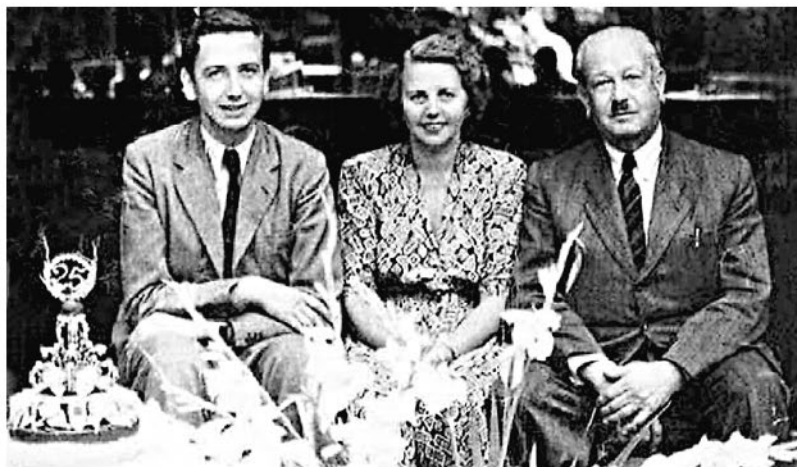
С младшей сестрой у Курта получилось лучше. Когда она приводила домой очередного кавалера, которого отец считал неподходящим, то начиналось тщательное расследование, что собой представляет этот молодой человек и чем занимается его семья. Детектив сообщал ему обо всем. После этого тонкие намеки о том, что семья кавалера нам не подходит, Курт превращал в ожесточенные споры, но никогда не признавался, откуда ему стало известно то или другое. Среди его бумаг мы с ужасом обнаружили подробные отчеты детективов.

Для чего он это делал? Почему стал таким? Отец был человеком, ушибленным прошлым, старыми травмами и былыми успехами. Если кредиторы не вели против него дел, он шел в суд сам, добиваясь справедливого, как ему казалось, возмездия за несправедливость, от которой он якобы много претерпел в какие-то совершенно незапамятные времена. Он часами говорил о том, чего лишился, о компенсациях, которые надеялся отсудить. От меня это все было очень далеко, но на любой мой вопрос, предложение или мнение ответ был всегда один и тот же: «У меня нет выбора». Всякий раз он запутывал

меня все больше и больше, и со временем я научилась молча его выслушивать и иногда кротко вставлять: «Мы с тобой по-разному смотрим на мир».

Мы росли в окружении теней прошлого. В родительской гостиной все свободные места были заняты вставленными в рамки черно-белыми фотографиями Австрии. Рядом с кроватью отца стояла кубастенькая, еще тридцатых годов бутылка ликера «мокко». Готическими буквами примерно на треть от ее высоты было написано: «С. Шиндлер». Она сохранилась у меня. Пробка давно уже провалилась внутрь и плавает в сладкой густой темно-коричневой жиже, пить которую уже совершенно невозможно; Курт, не мудрствуя лукаво, затыкал горлышко бумажкой, чтобы ничего не пропало.

Буква S, первая в немецком написании нашей фамилии (Schindler), украшала и фарфор, на котором мы ели в детстве. Кое-что есть у меня до сих пор. И бутылка, и фарфор — осколки некогда могущественной, как уверял нас Курт, империи Шиндлеров, звездным часом которой стало шикарное кафе в Инсбруке, где люди танцевали, крутили романы и где



2. Курт с родителями, Эдит и Гуго, на праздновании 25-летия кафе

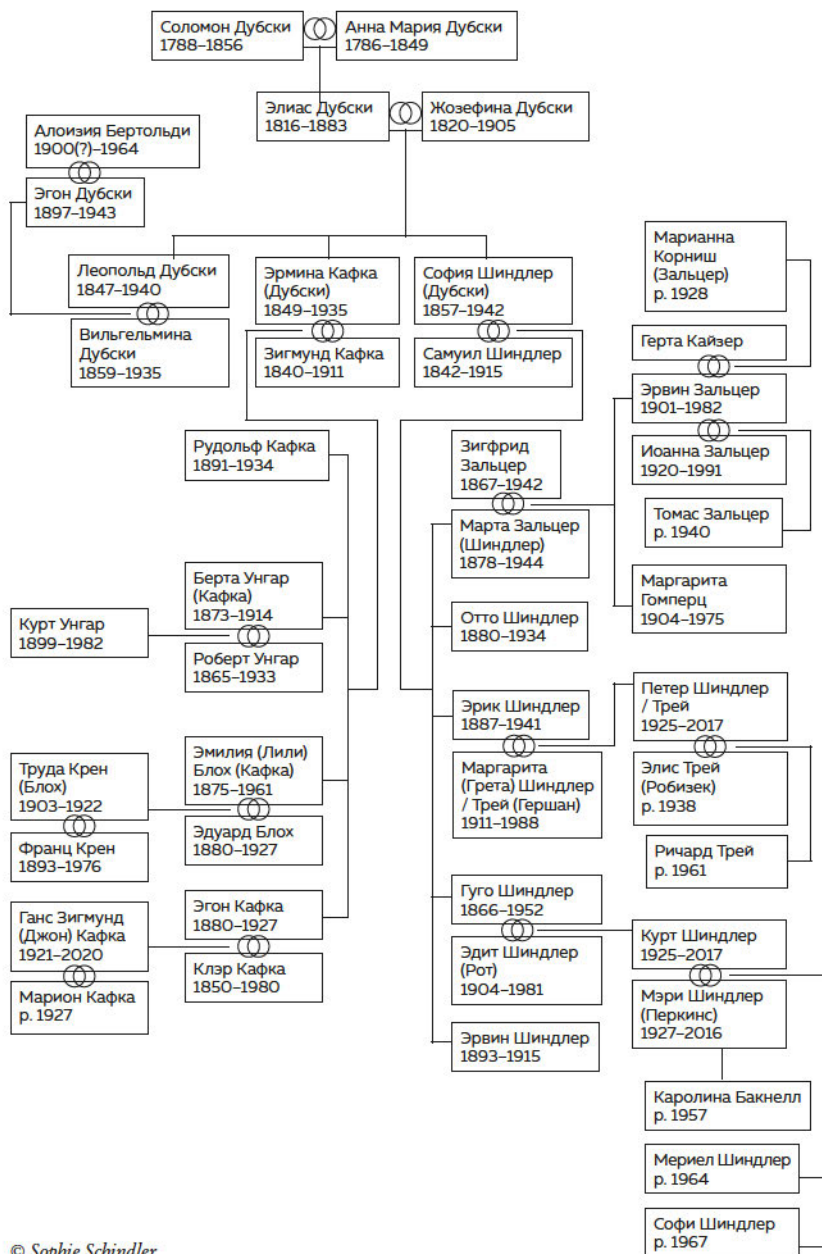
подавали самый вкусный яблочный штрудель во всей Австрии. За выпечку кафе получило золотую медаль, и у Курта было соответствующее свидетельство в красивой рамке.

Если верить Курту, у нас были не только блестящие дни, но и блестящие связи. Оскар Шиндлер, тот, кто спасал евреев в Холокост и увековечен в мемориале Яд Вашем? Ну как же, мы еще в детстве слышали, что обе наши семьи происходят из одного района Южной Силезии. Писатель Франц Кафка? Тоже родственник; как и Альма Шиндлер, жена Густава Малера и Вальтера Гропиуса. Курт уверял, что и венская красавица Адель Блох-Бауер, изображенная на картине Климта «Женщина в золотом», тоже происходит из нашей большой семьи.

Но были и другие, не столь благодные рассказы о том, как наша семья оказалась на пути самых мрачных фигур европейской истории. Какая именно здесь была связь, покрыто мраком неизвестности: Курт скупился на точные факты. Свои байки он лишь слегка приправлял подробностями для большего правдоподобия, но, положив руку на сердце, в них так и осталось немало загадочного. Все детство нас окружали самые разные истории.

Даже если он и мог кое-что пояснить, поезд ушел: его больше нет с нами. Я рассматриваю черно-белые фотографии из альбомов, спасенных из отцовского дома, и вдруг ощущаю острую необходимость узнать, кто эти люди. А его уже не спросишь.

Я вознамерилась понять этого повредившегося умом человека, отделить правду от вымысла, точные воспоминания от неточных, а для этого мне предстояло с головой погрузиться в его прошлое и хитросплетения большой, длинной семейной истории. Мне предстояло основательно познакомиться с историей Австрии, понять, каково было жить в беспокойной стране, с высот своего имперского величия упавшей в пучину Первой мировой войны, едва не исчезнувшей и поглощенной-таки Третьим рейхом. Мне предстояло точно узнать, что случилось с «империей Шиндлеров».



А кроме всего прочего, предстояло столкнуться со стеной культурных и национальных предубеждений, которая во многом определила жизненный опыт моего отца, а еще раньше — его отца и деда. «Никому не говорите, что вы еврейки», — наставлял он нас с сестрой с самого детства.

И все же мои розыски начались не в Австрии, а в Богемии.